

РУССКИЙ СЕВЕР: УТОПИИ И МОБИЛЬНОСТИ

Е. А. Мельникова

«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ...»: К ИСТОРИИ РУССКОГО СЕВЕРА НА СИМВОЛИЧЕСКОЙ КАРТЕ ВООБРАЖАЕМОЙ РОССИИ

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена значению понятия «Русский Север» в контексте российской, а затем советской национальной политики, и особенностям его использования в этнографической практике XIX–XX вв. Наиболее распространенная до конца XIX в. категория «русский Север» была инструментом символического присвоения инородческой территории в имперском дискурсе, позволявшим описать обширное и плохо освоенное пространство в национальных терминах. Изобретение собственно Русского Севера относится к началу XX в., когда меняются его воображаемые географические границы, а сам регион начинает восприниматься как заповедник русского народного духа и традиции. Деление русского народа на северно-, южно- и среднерусских, ставшее основой советской этнографии, не получило политического воплощения. Тем не менее конструирование облика и культуры отдельных групп русских осуществлялось по той же модели, которая использовалась для описания этносов. Ретроспективный поворот в советском обществе 1960–1970-х гг. привел к реанимации образа Русского Севера как заповедника русской народности, архаики и культуры, который, несмотря на критику 1970–1980-х гг., по-прежнему остается одним из самых востребованных топосов национального воображения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Русский Север, севернорусские, воображаемая география, этнография, символическое пространство

УДК 39(470.1/.2)

DOI 10.31250/2618-8619-2019-1(3)-6-22

МЕЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — к.и.н., заведующая отделом этнографии восточных славян и народов европейской части России, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН; доцент факультета истории, Европейский университет в Санкт-Петербурге (Россия, Санкт-Петербург)

E-mail: Melek@eu.spb.ru

Конечно, это особый мир, сразу чувствуется какая-то незримая граница между центральной частью нашей страны и северными губерниями. А в то же время — вот есть у нас северо-запад, вот Петербург, скажем, или пригороды Петербурга, ведь не назовешь Русским Севером, это особый какой-то мир. А Русский Север — это Вологодская земля, Архангельская наша земля, Поморье, вот эти края, отчасти Новгород, наверное, можно отнести к Русскому Северу. Но здесь вот эти границы, они очень незримы, такие достаточно размытые, но чувствуется особый дух.

Это высказывание принадлежит ведущему радиопрограммы «Культурное путешествие» на радиостанции «Вести FM» Марату Сафарову. В программе «Особый дух Русского Севера», вышедшей в эфир в декабре 2016 г., Сафаров использует один из многих вариантов географического определения Русского Севера и в то же время одну из самых типичных его характеристик. Именно «особый дух» обеспечил Русскому Северу статус заповедника русской национальной культуры, сделал его популярным местом паломничества искателей старины и традиционности.

Русский Север никогда не был воплощен в административных или политических границах. На картах Российской империи, Советского Союза и постсоветской России никогда не существовало губернии, области или края с таким названием. Тем не менее, так же как и Сибирь, получившая официальные границы лишь совсем недавно¹, Русский Север стал с конца XIX в. важным элементом воображаемого российского пространства, определяя его в координатах национального центра и окраин империи.

Но, в отличие от Сибири, появившейся на символической карте уже в XIV в. (Сибирь в составе Российской империи 2007: 11) и менявшей свое значение на протяжении многих веков², Русский Север был изобретен в течение всего нескольких десятилетий на рубеже XIX–XX в.³

В конце 1880-х гг., когда великий князь Владимир Александрович отправился с инспекцией вверенного ему военного округа в северные губернии, а его историограф К. К. Случевский издал по итогам этой поездки свои путевые заметки, понятия «Русский Север» еще не было. Великий князь путешествовал по северу России, и его же описывал К. К. Случевский (2009). Но спустя всего десять лет в опубликованной губернатором Архангельской губернии А. П. Энгельгардом книге о собственном путешествии по просторам северного края, Архангельская губерния названа уже «собственно русским Севером» (Энгельгардт 1897).

Превращение севера России в «русский Север», произошедшее между 1884 и 1897 гг., было менее радикальным, чем его перерождение в Русский Север, ставшее очевидным к началу XX в., когда о нем начали говорить и писать художники круга И. Я. Билибина. Именно в этом, прежде всего художественном контексте северный регион приобрел те черты, которые до сих пор позволяют видеть в нем заповедник русской традиционной культуры, национального духа и старины. Однако между историей билибинского Русского Севера и его возрождением в современной России, свидетельством которому стала программа «Особый дух Русского Севера» на радиоканале «Вести

¹ В результате федеративной реформы в 2000 г. был образован Сибирский федеральный округ.

² См. подробнее о генезисе геополитического образа Сибири в книге А. В. Ремнева и Л. М. Дамашека «Сибирь в составе Российской империи», вышедшей в серии «Окраины российской империи» (2007), и обсуждение этого труда в журнале «Ab Imperio» (2008. № 4).

³ В отличие от В. Н. Калущкова, на протяжении многих лет занимающегося исследованием ментальной карты Русского Севера (Калущков 2008), я не склонна рассматривать более ранние этапы освоения Европейского Севера как циклы его развития.

FM», был еще долгий и сложный период его «севернорусского» существования, определявшийся непростыми изгибами советской национальной политики и этнографической практики.

Не ставя перед собой задачу детально рассмотреть историю символического воображения Русского Севера, тем более что эта работа отчасти уже проделана (Калуцков 2008: 167–200; Шабаев и др. 2012), в своей статье я хочу лишь наметить основные вехи этого пути и его связь с развитием восточнославянской и русской этнографии последних полутора столетий.

ОТ СЕВЕРА РОССИИ К РУССКОМУ СЕВЕРУ

Как показывает в ряде своих работ Марк Бассин, определение России как европейской империи, ставшее актуальной задачей в период петровских завоеваний и преобразований, привело к тому, что уже в середине XVIII в. граница между Европой и Азией слилась с границей между Россией и Сибирью, традиционно проходившей по линии Уральских гор (Bassin 1991: 768). Именно тогда, по мнению Бассина, возник новый образ российской державы, разделенной на две части — Европейскую и Азиатскую (Ibid). Сама же Сибирь превратилась в «Другого» Европейской России, подобного колониальному «Востоку» континентальных метрополий (см. также: Brower, Lazzarini 1997).

Граница между цивилизованной Европейской Россией и дикой Азиатской Сибирью разделяла Запад и Восток, но не Юг и Север (Tolz 2001: 157–158). Вплоть до конца XIX в. уральской «границы» было вполне достаточно для того, чтобы дистанцировать новую российскую империю от средневековой Московии, ассоциировавшейся у европейских путешественников и монархов с дикой Тартарией (Wolff 1994; Neumann 1999). Однако в период национального подъема во всей Европе демаркационной линии «Европейская Россия — Азиатская Сибирь» было уже мало: дискуссии о природе национального требовали переопределения имперских территорий в новых — национальных терминах (Tolz 2001: 161; Миллер 2006: 162–163). Во второй половине XIX в. России недостаточно было считаться европейской, ей надлежало стать русской. Очевидно, что такая потребность распространялась далеко не на все части империи. Как предполагает Алексей Миллер, «исконно русские земли» в рамках этой оптики делились на «благополучные», то есть те, в которых их русский характер был вполне подтвержден; проблемные, «больные», где следовало извести враждебные влияния; и, наконец, остающиеся вовсе «отторгнутыми», то есть в империю — и как следствие в «национальное тело» — не включенными» (Миллер 2006: 162).

Север Европейской России в этом отношении оставался абсолютной *terra incognita*. И дело не только в том, что он был все еще плохо описан (гораздо хуже, чем Сибирь к тому моменту), но и в том, что он являл очевидную проблему для классификации. Уральские горы, по которым была установлена восточная граница Архангелогородской (1708), а затем Архангельской губернии (1796), обеспечивали включение всей губернии в пространство Европы. Однако народы, проживавшие на этих бескрайних просторах, не вписывались в те рамки, которым должны бы соответствовать «европейские народности». По данным переписи 1897 г., более 13% жителей губернии говорили на финно-угорских языках — финском, карельском, саамском и коми, а на севере, в Печорском крае, проживало несколько тысяч кочевых самоедов. И если финны еще могли претендовать на более высокий статус в иерархии российских народов как лояльные по отношению к государю и правящей династии, имеющие собственную элиту, и исповедующие христианство (Каппелер 1997), то саамы и самоеды Печорского края, безусловно, оказывались в самом низу всех возможных иерархий, будучи не только язычниками, но еще и кочевниками. Самоеды, лопари и коми-зыряне гораздо больше подходили под определения инородцев Сибири. И все-таки они оказались по другую сторону ее воображаемой границы.

Вплоть до начала XX в., впрочем, наличие экзотических диких племен к западу от Уральских гор никого не смущало. Все они достаточно легко вписывались в понятие «север России», который постепенно стал осваиваться национальным дискурсом как форпост русского колониализма и просвещения.

Описывая путешествие великого князя Владимира Александровича по северным губерниям, К. К. Случевский пишет: «Человеку, проезжающему этими местами, на первый взгляд легко может показаться, что ничего тут особенного не было, ничего замечательного не совершилось. <...> Но если коснуться истории, впечатление изменится: край населится удивительными картинами, дебри оживут, и воспоминания о самых отдаленных исторических событиях невольно восстанут в памяти путешественника. Белоозеро, Синеус, Рюрикова крепость, княгиня Ольга, Великий Новгород — все это говорит о тех временах, когда Москвы не было еще и в помине, о десятом столетии, между тем берега Невы и Обонежской пятины были уже новгородскими землями и политы обильно русскою кровью» (Случевский 2009: 12). Наличие русской крови на северных землях, исконное присутствие здесь новгородцев, а затем москвичей, которых Случевский, в отличие от чуди, самоедов и лопарей, конечно же считает «своими», становится сквозной идеей книги. Путешествие по древнему Заволочью для К. К. Случевского — это путешествие по «северу нашему» (Там же: 259), который испокон веков принадлежал и осваивался русскими, где «восставала чудь, восставали финны» (Там же: 260), но все-таки отступали, уходя «в более глухие места края, предоставив лучшие русским» (Там же: 92), и уступали им — «чудь все более и более русела», а «бояре новгородские, со своей стороны, тоже теснили бояр двинских» (Там же: 260–261).

Тем не менее для К. К. Случевского, как и спустя десятилетие для А. П. Энгельгарда, «пестрядь нашего северного населения: карел, самоед, лопарь, помор, — каждый со своими особенностями» (Случевский 2009: 293) имела не меньшее значение, чем цивилизационная миссия Москвы и русского народа. Эпоха всемирных выставок, предполагавшая выставление напоказ богатств колониальной экзотики, не только допускала, но и требовала наличия инородческого разнообразия.

Символический перевод севера России в русский Север (именно так, с маленькой буквы!), произошедший спустя десять лет в книге Архангельского губернатора, хотя и создавал новый регион в воображаемом пространстве Европейской России, не слишком менял его значение в сравнении с тем, что уже было в путевых заметках Случевского. Энгельгард всего лишь дал название тому, что и так уже подразумевалось. На 260 страницах его книги перед читателем открывается все многообразие огромного пространства: Кемь и Кольский уезд, Корела, Поморье и Лапландия, Мурман, Новая Земля и Печорский край — вместе с населяющими его кореляками, лопарями, зырянами и самоедами (Энгельгардт 1897). Всех их Энгельгардт описывает как дикие «племена», лишённые всего, что ассоциируется с цивилизацией: «Лопарское племя, по-видимому, вымирает или, лучше сказать, постепенно исчезает и смешивается с соседними племенами. Не имея ни письменных памятников, ни исторического прошлого, ни особых религиозных верований, все они православные; принимая обычаи и культуру русских, лопари отстают нередко от своих единоплеменников и смешиваются с русскими» (Энгельгардт 1897: 64).

Ни для Случевского, ни для Энгельгардта не было проблемы в том, что и саамы-лопари, и самоеды-ненцы жили на «русском Севере». Точно так же А. В. Журавский, известный исследователь Печорского края, основатель Печорской естественно-исторической станции при Императорской Академии наук, коллекционер и собиратель предметов для музейных фондов (Терюков 2008), не видел противоречия в том, чтобы в книге о проблемах русского Севера публиковать материалы, собранные им среди печорских ненцев (Журавский 1911: 18–29). Русский Север конца XIX в. был

в той же степени русским, в какой русскими были Русское Географическое общество и русская этнографическая выставка 1867 г. с ее 116 «инородческими» фигурами (Всероссийская этнографическая выставка... 2017: 62).

Оставляя за рамками этой работы споры по поводу характера русского национализма в позднеимперской России⁴, лишь хочу подчеркнуть, что введение понятия «русский Север» в конце XIX в. позволяло дискурсивно описать и осмыслить эту территорию как «свою», «национальную», и в этом смысле «русскую» территорию (Миллер 2006: 156).

Чем именно были вызваны достаточно неожиданные попытки сконструировать новый русский регион в том месте, где на протяжении многих веков не виделось ничего, кроме болот и дикости, не вполне ясно. Возможно, символическое присвоение этого пространства в то время было вызвано необходимостью экономического развития края, требующего вложений и, соответственно, обоснования. Возможно, национальным подъемом в Великом княжестве Финляндском, непосредственно граничащим с Архангельской губернией на западе, где также проживали карелы. Возможно, общим усилением националистических дискурсов на всех окраинах Российской империи (Brower, Lazzarini 1997; Seegel 2012). Так или иначе, к началу XX в. понятие «русский Север» прочно закрепилось в общественном дискурсе, став узнаваемым топонимом и категорией географического воображения.

ОТ «РУССКОГО СЕВЕРА» К «РУССКОМУ СЕВЕРУ»

К концу XIX в. Европейский Север стал таким же русским, как Чукотка или Камчатка: бесповоротно и накрепко связанным судьбой с Российской империей, утвердившейся даже в непроходимых болотах и топях чудного Заволочья, установившей там свои форпосты — монастыри, порты и железные дороги.

И все-таки гораздо более серьезные трансформации произошли с русским Севером в последующие десятилетия, когда он стал местом паломничества художников, фольклористов и этнографов.

Конечно, И. Я. Билибин не изобрел Русский Север. Он сам далеко не случайно был командирован туда только что образованным Этнографическим отделом Русского музея⁵. К тому времени уже был издан труд С. В. Максимова «Год на Севере» (1859), Рыбниковым и Гильфердингом уже были «открыты» северные былины, Русское географическое общество уже неоднократно отправляло в Архангельскую губернию и Поморье свои экспедиции.

И все-таки именно И. Я. Билибин совершает удивительный шаг, наделяя русский Север русской душой, одновременно меняя его географические границы. Для И. Я. Билибина Русский Север — это уже далеко не Архангельская губерния с ее чудью, лопарями, зырянами и самоедами. Это не «подстоличная Сибирь», достаточно экзотичная для того, чтобы оттенить европейский блеск и цивилизованность Москвы и Петербурга. Русский Север, о котором пишет И. Я. Билибин, — это сердце русской национальности и народности, заповедник «русского народного творчества», где следует искать настоящий «русский стиль» и настоящий русский дух, еще сохранившийся в орнаментах, резьбе, крое платья и деревянной архитектуре.

Русский Север в таком определении и географически изменился. Это уже только часть Архангельской губернии, где нет ни лопарей, ни самоедов, и вдобавок Вологодская и Олонецкая губернии, образовавшие вместе сердцевину русской национальной территории, конкурирующую в этом качестве и, кажется, даже выигрывающую по популярности у древней Московии.

⁴ Литература по этому вопросу — огромный комплекс исследований. Вот только основные: (Каппелер 2000; Миллер 2006; Уортман 2004; Tolz 2001).

⁵ См. подробнее в статье Д. А. Баранова в этом номере.

В статье Д. А. Баранова, помещенной в этом номере, подробно рассматривается специфика визуального воображения Русского Севера в творчестве И. Я. Билибина и художественной практике рубежа XIX–XX в. Паломничество художников в заново открытый регион было не только вполне закономерным следствием предшествующего ему более длительного поиска местонахождения русской души, определения границ ее распространения и национального присвоения Европейского Севера. Визуализация русской народности в образах, созданных И. Я. Билибиным, И. Э. Грабарем, Н. К. Рерихом и другими художниками, обеспечивала Русский Север важным свойством «картинности», так необходимым в другой области национального строительства — в этнографических музеях.

Комплектование этнографических коллекций, сосредоточенных к концу XIX в. в нескольких музеях Москвы и Петербурга, определялось критериями «чистоты» от влияния городской культуры и наличием «допетровских черт». При этом вещи не только должны были быть «самородными», то есть сохранять особенности, характерные для вещей допетровской Руси, но и быть «картинными», то есть обладать свойствами яркости, узорности и зрелищности (Шангина 1997: 13–14). Визуальная работа художников круга И. Я. Билибина обеспечивала севернорусские предметы обоими качествами⁶. В результате к концу XIX в. Русский Север прочно занял место «заповедной зоны», идеально соответствующей критериям этнографического поиска. Именно туда музеи командировали своих представителей в поисках подходящих вещей.

ОТ РУССКОГО СЕВЕРА К СЕВЕРНЫМ РУССКИМ

Этнографическая выставка, торжественно открытая в Московском манеже 23 апреля 1867 г., состояла из нескольких отделов. Отдел групп, где были выставлены манекены, изображавшие представителей разных «племен», включал две части: инородческие и славянские племена. Последние делились на восточных, западных и южных славян, а восточные славяне, в свою очередь, были представлены группами великороссов, малороссов и белоруссов. Такая классификация была абсолютно типичной для того времени. Великороссы, малороссы и белоруссы считались составными частями большого «русского племени», славянскость которого была важна в свете панславистских политических перспектив поздней имперской России (Миллер 2006: 162). Русский народ понимался как господствующий над всеми славянскими племенами и в то же время включающий все эти племена. Как высказался в своей речи по поводу выставки профессор Санкт-Петербургского университета К. Н. Бестужев-Рюмин, «одного взгляда на этнографическую карту достаточно, чтобы убедиться в том, что над всем этим разнообразием племен господствует не только силою своего государства, не только своим умственным превосходством, но и самою массою своей одно племя — русское» (Всероссийская этнографическая выставка... 2017: 521).

Этнографическая выставка, не менее торжественно открытая спустя полвека Этнографическим отделом Русского музея, также состояла из нескольких отделов. Но здесь уже был самостоятельный отдел русского народа, поделенный на севернорусскую, центральнорусскую и южнорусскую этнокультурные зоны (Баранов 2010: 35; Hirsch 2005: 192). Это новое деление отразило изменения, произошедшие за полвека не только в этнографии, но и в общественном пространстве и национальной политике.

Отзываясь на Русскую этнографическую выставку 1867 г., С. В. Максимов сетовал на трудность классификации великороссов: «Даже на самой маленькой ярмарке, на небольшом базаре всякий желающий без труда может убедить себя в том, что ничего нет труднее, как найти такие

⁶ См. подробнее: (Мельникова 2016).

черты, которые можно было бы почитать общими, и определить и выяснить для себя такой закон, который удобно было бы применить для распознавания племенных отличий великорусов» (Всероссийская этнографическая выставка... 2017: 132). Невозможность найти ясные критерии «племенных отличий великорусов», о которой говорит здесь С. В. Максимов, имела не такое уж большое значение в 1860-х гг. Но в новой национальной истории послереволюционной России эта проблема оказалась центральной. Тот же С. В. Максимов, перечисляя множество совершенно общих для всех великорусов черт, восклицает: «Едва ли только не говор один до сих пор может почитаться в числе общих особых примет, пригодный про всякий случай человеку, до сих пор руководимому мертвыми общими местами паспортных отметок» (Всероссийская этнографическая выставка... 2017: 133). И действительно, спустя пятьдесят лет именно лингвистическая карта русского языка станет основой классификаций русского народа. Все этнографические карты, создававшиеся в советское время, использовали в качестве базового принципа диалектологическое деление русского языка на северно-, южно- и средневеликорусское наречия.

Впервые это деление предложил еще в 1866 г. А. А. Потебня, а впоследствии разрабатывал в целом ряде своих публикаций А. А. Шахматов⁷. В «Опыте диалектологической карты русского языка в Европе», подготовленной членами Московской диалектологической комиссии Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколовым и Д. Н. Ушаковым (1915), эта языковая классификация была картографирована. Но только в конце 1920-х гг. она приобрела значение, выходящее за пределы изучения собственно диалектов русского языка.

В «Востонославянской этнографии», изданной в 1927 г. в Берлине, Д. К. Зеленин оспаривает принятое раньше деление восточных славян на русских, белоруссов и украинцев и пишет: «С этнографической и диалектологической точки зрения такое деление восточных славян на три ветви неудовлетворительно, так как при этом не учитываются резкие различия между обеими группами русских. Южнорусское население (то есть русское население Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Тульской, Орловской и Калужской губерний) этнографически и диалектологически отличается от севернорусского (в Новгородской, Владимирской, Вятской, Вологодской и др. губерниях) значительно больше, чем от белорусов. Поэтому с полным правом можно говорить о двух русских народах: севернорусском (окающий говор) и южнорусском (акающий говор)» (Зеленин 1991: 29). Д. К. Зеленин, составивший первую обобщающую монографию по восточным славянам, следует лингвистической модели А. А. Шахматова и Н. Н. Дурново, принимая за отправную точку характеристики народных говоров. При этом он полагает, что различия между севером и югом настолько велики, что позволяют говорить о двух разных народах, равнозначных белоруссам и украинцам (малороссам в более ранних версиях типологии). Слова «народ» и «народность» по отношению к двум группам русских появляются в «Востонославянской этнографии» совсем не случайно. Д. К. Зеленин подчеркивает, что «несмотря на значительное смешение, явившееся следствием более поздних миграционных потоков, обе названные русские народности резко отличаются друг от друга типом жилища, одежды и другими особенностями быта» (Там же), и удивляется, что до сих пор «не было найдено особое наименование для двух русских народностей» (Там же: 30).

Идея «четырех восточнославянских народностей», предложенная Д. К. Зелениным, так и не получила развития. В следующей после зеленинской большой монографии, теперь уже обобщающей знания не о восточных славянах, а о народах СССР, С. А. Токарев критикует как существовавшую до революции «великодержавную точку зрения», согласно которой «есть только один народ — русский,

⁷ См. подробнее в: (Горшкова 1972: 10–13).

что украинцы не составляют-де народа, а являются лишь представителями одного из “наречий” русского языка» (Токарев 1958: 28), так и позицию Д. К. Зеленина как не соответствующую «народному самосознанию»: «Однако в целом точку зрения Шахматова-Зеленина принять нельзя. Понятия “северновеликорусы” и “южновеликорусы” — чисто искусственные научные термины, народу неизвестные. Ни один русский крестьянин никогда не скажет, что он “южновеликорус” или “северновеликорус”, и даже едва ли сразу поймет, что это значит» (Там же: 29). С. А. Токарев исходит из того, что существуют «именно три, совершенно сложившиеся народа, или нации» (Там же), но все же сохраняет деление русских на северных и южных великоруссов, считая это деление в первую очередь языковым, связанным с различиями между двумя великорусскими наречиями (Там же: 30).

Дальнейшее развитие категорий южных и северных русских во многом определяется тем, что А. И. Миллер назвал «территориализацией этничности», отличавшей советскую национальную политику от позднеимперской (Миллер 2006: 155). Каталогизация народов, картографирование и разработка сложносоставных и, как правило, противоречивых иерархий этнических систем были общим свойством послереволюционной этнографии⁸.

Попытка положить в основу административно-территориальной карты новой России этнические границы обусловила масштабную территориализацию этнических групп и этнизацию территорий (Hirsch 2005: 145–186; Мартин 2011: 426), в полной мере затронувших и территорию Европейского Севера. В ходе административно-территориальных реформ 1920-х гг. Архангельская губерния была полностью «руссифицирована», то есть лишилась всех нерусских областей: в 1920 г. из ее состава была выведена «карельская» часть, отошедшая к новообразованной Карельской трудовой коммуне⁹, в 1921 г. — автономная область коми (зырян), преобразованная впоследствии в автономную республику, а в 1929 г. был образован Ненецкий округ Северного края, ставший в 1930 г. Ненецким национальным округом. В коммунальной квартире Советского Союза каждой национальной семье полагалась отдельная комната (Slezkine 1994: 434): архангельские инородцы получили свою прописку, оставив все пространство Архангельского края русским.

В этой ситуации северные великоруссы вполне имели шансы получить собственную территорию. Настаивая на том, что северные и южные русские — это не просто носители разных наречий одного языка, но именно народы, такие же как другие восточные славяне, Д. К. Зеленин выводил не такую уж новую на тот момент диалектологическую таксономию на совершенно другой уровень, создавая не только новые этнические категории, но и новые национальные границы. И если бы его подход был принят в конце 1920-х гг., северные и южные великоруссы могли бы претендовать на отдельные комнаты в большой коммунальной квартире. Но, как мы знаем, этого не произошло. В отличие от марийцев, которые не только приобрели в 1920 г. Марийскую автономную область, но и были разделены на группы «луговых» и «горных» марийцев, последняя из которых также получила собственный национальный район (создан в 1931 г.), русские не могли быть институализированы на административной карте России.

Значительное число исследований, посвященных «русскому вопросу» в советской национальной политике¹⁰, показывают, что русским было отказано в собственной площади. Политика

⁸ Ср.: «В первые же годы после Великой Октябрьской социалистической революции возникла острая нужда в этнографах, этнодемографах и этнокартографах. Установление исторически обоснованных границ между союзными республиками требовало знания этнической истории народов России, истории развития их этнических территорий; подобные же знания нужны были для приведения административного районирования страны в соответствие с ее этнической структурой, для определения границ автономных республик, областей и округов» (Чистов 1986: 249).

⁹ В 1923 г. Карельская трудовая коммуна была преобразована в автономную республику, впоследствии Карельскую АССР (1936), а потом и Карело-Финскую ССР (1940).

¹⁰ См.: (Мартин 2011; Митрохин 2003; Хоскинг 2012; Brudny 2000; Hirsch 2005; Slezkine 1994).

«положительной деятельности», или «позитивной дискриминации», как назвал ее Терри Мартин, не допускала институализации русских: в отличие от всех других титульных народов, у них никогда не было ни своей коммунистической партии, ни своей национальной Академии наук (Slezkine 1994: 443; Мартин 2011: 542–550). В дискуссиях 1920-х гг. постоянно звучал вопрос об опасности придания русскому этническому чувству внутри Советского Союза институционального воплощения: «“Россия” воспринималась как сверхнациональное образование, как прошедший очищение призраки старой империи и как бестелесный предтеча будущего пролетарского международного государства, но никак не в качестве подлинного этноса или государства-нации. Истинное русское национальное государство в центре Советского Союза было бы настолько огромным и могущественным, что оно либо доминировало бы в Союзе, либо сделало бы его неработающим образованием» (Хоскинг 2012: 91). Принятая в итоге этих обсуждений конституция формально не давала русским никаких преференций: Союз Советских Социалистических Республик был федеративным государством, в названии которого не было ни слова «Россия», ни названия «русское»¹¹.

Институализация и национализация северно- и южновеликоруссов — превращение их в отдельные народы-нации — противоречила принципам раннесоветской национальной политики, но еще менее соответствовала тому курсу, который был выбран с начала 1930-х гг. «Реабилитация русских» как полноправной нации (Slezkine 1994: 443–448), общее сокращение числа национальностей и ликвидация нерусских национальных территорий и других национальных институтов в русских регионах РСФСР (Мартин 2011: 553) не допускали фрагментации «русского народа». Деление русских на северно-, южно- и средневеликоруссов так и не получило политического воплощения, оставшись только этнографической схемой.

«Этнография народов СССР» С. А. Токарева, вышедшая в 1958 г., была написана им на основе курса лекций в Московском государственном университете, читавшихся в 1939–1940 гг. Это был первый год работы кафедры этнографии, созданной С. П. Толстовым через восемь лет после закрытия существовавшего там Этнологического факультета (Алупов 2014; Алымов, Арзютов 2014). Этнография, оказавшаяся в нокдауне в результате идеологической борьбы 1920-х гг. (Слезкин 1993), искала свое новое место в системе социалистических наук, и таким местом стало изучение социально-экономических формаций и этногенеза. Деление русского народа на северных и южных великоруссов, унаследованное из восточнославянской этнографии Д. К. Зеленина, сохранялось, но им отводился более низкий статус в иерархии этнических общностей, а их значение определялось историей русской колонизации.

На протяжении 1950–1980-х гг. статус понятий «севернорусский» и «южнорусский» в этнографических классификациях неоднократно менялся. В первом томе «Народы Европейской части СССР», вышедшем в 1964 г. в серии «Народы мира», они называются историко-культурными группами (Народы Европейской части СССР 1964: 143), а в классификацию Ю. В. Бромлей вошли как названия «этнографических групп» (Бромлей 1973: 33). Г. Н. Озерова и Т. М. Петрова, работавшие в конце 1970-х гг. над составлением карты расселения русского народа в начале XX в., сетовали на то, что «в нашей этнографической литературе до сих пор нет классификаций внутренних подразделений русского этноса, составленных на основе какого-то одного ведущего или нескольких признаков» (Озерова, Петрова 1979: 74)¹².

¹¹ Формальная сторона федеративного устройства СССР не должна вводить в заблуждение: РСФСР занимала 90% площади всей страны и здесь проживало 72% ее населения, большинство членов коммунистической партии были русскими, армия и экономика в высшей степени централизованы. «При такой структуре, — пишет Джеффри Хоскинг, — потребовался бы очень серьезный противовес, чтобы не дать РСФСР и русским занять в стране преобладающее положение» (Хоскинг 2012: 91).

¹² Подробнее об истории использования различных понятий в субклассификациях русского народа см.: (Бужин, Егоров 2008).

Перевод изначально языковой классификации в этнографическую был связан с большими проблемами. Как мы помним, откликаясь на выставку 1867 г., С. В. Максимов говорил о невозможности распознавания «племенных отличий великорусов». Но спустя сто лет, в 1964 г. этнографы были уверены, что, хотя эти различия теперь сглаживаются, еще в начале XX в. они «прослеживались очень четко» (Народы Европейской части СССР 1964: 143). И хотя «четкими» различия между северными и южными великоруссами были только в работах Д. К. Зеленина, сам факт их существования стал общим местом послевоенной этнографии.

Описание северно- и южнорусских этнографических групп, зон и комплексов строилось по тому же принципу, что и описание народов: им полагалось собственное историческое прошлое, «характерные» обычаи, хозяйство, предметы быта, народный костюм, жилище и фольклор. И все это было обнаружено у севернорусских (Бломквист 1956; Маслова 1956; Чижикова 1976)¹³. Чего не позволяли сделать подобные описания, так это объединить все комплексы вместе, увязав их друг с другом общим диалектом русского языка и территорией распространения. К такому выводу приходит К. В. Чистов в 1974 г.¹⁴, но в 1986 г. он все еще звучит по-новому: «Пристальное изучение географического расселения народов и распространения их культуры (в том числе и этнографическое картографирование) привело советских этнографов к весьма важному для советской этнографии выводу: границы расселения отдельных этносов (этнические территории), ареалы отдельных языков, отдельных комплексов или тем более элементов культуры и ареалы отдельных антропологических особенностей, как правило, не совпадают» (Чистов 1986: 267).

А ГДЕ ЖЕ РУССКИЙ СЕВЕР?

Русский Север, воспетый художниками начала XX в. как заповедник русского духа, плохо вписывался в советскую национальную топографию. Руссификация Архангельской губернии, осуществившаяся де-факто посредством административно-территориальной реформы 1920-х гг., не сопровождалась институализацией того самого русского духа. Для общего обозначения региона, как правило, использовались понятия «Европейский Север» или «Север Европейской России». Вплоть до 1950–1960-х гг. Русский Север практически полностью исчезает из публикаций (Калуцков 2008: 198). Границы, установленные для «севернорусской» этнографической зоны, не совпадали с границами когда-то обнаруженного «Русского Севера» и включали в различных вариантах территории Архангельской, Вологодской, Новгородской областей, Карельскую АССР, часть Калининской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Горьковской и других областей (Народы Европейской части СССР 1964: 144).

Постепенное возвращение Русского Севера на символическую карту России происходит с начала 1950-х гг. В 1948 г. начинает работу Северно-Великорусская экспедиция Института этнографии АН СССР под руководством Г. С. Масловой, с 1954 г. — постоянная Севернорусская экспедиция М. В. Витова в МГУ (Туторский 2010: 273), с 1959 г. в Ленинградской части Института

¹³ Единственным камнем преткновения было «этническое самосознание», определенное Ю. В. Бромлеем в качестве обязательного признака этноса (Бромлей 1973: 95–98). Именно его отсутствие стало для С. А. Токарева главным аргументом против зеленинской идеи четырех народностей (Токарев 1958: 29). Но впоследствии, уже в современной этнографии, даже этот «недостаток» был исправлен (Власова 2006; 2015).

¹⁴ «Опыт картографирования элементов и комплексов материальной культуры, так же как и опыт картографирования диалектов, показывает, что соотношение границ ареалов явлений различного порядка и уровня очень сложно и подчас неожиданно. Они зачастую не совпадают с границами расселения отдельных народов и их подразделений. Так, например, ареал дома с так называемой севернорусской планировкой охватывает территорию расселения коми, карел, вепсов, мордвы-эрзи, марийцев, води, ижоры и финнов Ленинградской области; с так называемой западнорусской планировкой — белорусов, украинцев, латышей Латгалии, литовцев Восточной Литвы, эстонцев-сету» (Чистов 1974: 74).

этнографии Т. А. Бернштам проводит регулярные полевые экспедиции среди поморов. Тем не менее еще в середине 1950-х гг. в своей монографии о жилище Е. Э. Бломквист, тогда руководитель ленинградской группы сектора этнографии восточных славян, использует понятие «русский Север» в нетопонимической форме — «русский» снова, как когда-то у Энгельгардта, пишется с маленькой буквы, обозначая те части Севера Европейской России, которые заселены по преимуществу русским населением (Бломквист 1956).

Полноценное возрождение Русского Севера происходит только в конце 1960-х — начале 1970-х гг., когда он снова приобретает заглавную букву, утраченный на несколько десятилетий статус и визуальное воплощение. В сборнике «Фольклор и этнография Русского Севера», изданном в 1973 г. под редакцией К. В. Чистова и Б. Н. Путилова и ставшем впоследствии началом целой серии работ о Русском Севере, редакторы пишут: «Русский Север давно привлекает внимание ученых. Без детального изучения истории заселения этих районов выходцами из Новгородской и Ростово-Суздальской земель нельзя понять многих процессов, сыгравших важную роль в социально-экономической истории нашей страны. Не затронутые татаро-монгольским нашествием в XIII–XV вв. и не охваченные наиболее жестокой — помещичьей (частновладельческой) формой крепостного права в XVII–XIX вв., севернорусские области сформировались как естественное хранилище народных бытовых традиций и народной художественной культуры. Они прославились замечательными образцами народной архитектуры, вышивки, резьбы, отчасти росписи. Здесь были открыты всемирно известные русские эпические песни (былины), записано большое количество старинных народных песен, причитаний и сказок, отличающихся неповторимым своеобразием и высокими художественными достоинствами» (Путилов, Чистов 1973: 3). В этих словах угадываются те же смыслы, которые привлекали когда-то в Архангельскую губернию И. Я. Билибина и его последователей. Русский Север предстает как уникальное и заповедное место, «естественное хранилище народных бытовых традиций и народной художественной культуры», не тронутое ни татаро-монгольским нашествием, ни тяжелыми формами крепостничества и сохранившее в первоизданном виде истинное богатство русского народа.

С приходом К. В. Чистова, занявшего в 1961 г. должность заведующего сектором этнографии восточных славян в Институте этнографии, Европейский Север становится основным направлением экспедиционных работ в ленинградской части сектора (Полищук 2003: 5). В 1974, 1976 и 1978 гг. в Ленинграде проходят научные конференции, посвященные этнографии Северо-Запада СССР¹⁵ (Там же: 10), а в 1981, 1986, 1992 и 1995 гг. выходят сборники «Русский Север».

Новое открытие и возрождение «Русского Севера» как средоточия старины, традиции и русской культуры, произошедшее на рубеже 1960–1970-х гг., связано не только с началом полевых исследований и публикацией материалов, но и с более масштабными социальными процессами этого времени, с так называемым ретроспективным поворотом, во многом определившим облик позднесоветской культуры. Под «ретроспективным поворотом» обычно понимается широкое распространение в обществе консервативных взглядов и обращение к проблемам сохранения исторического наследия и национальных традиций (Донован 2012: 383; Кормина, Штырков 2015: 11–19; Кормина 2018), одним из результатов которого стала организация в 1965 г. Российского (Всероссийского) общества охраны памятников истории и культуры. Появление ВООПИК не столько создавало, сколько отражало уже сложившееся к тому времени социальное движение, объединившее как культурную и художественную элиту, так и практиков — музейщиков и реставраторов, обеспокоенных

¹⁵ Понятие «Северо-Запад» стало актуальным в этнографии после создания в 1963 г. Северо-Западного экономического района СССР, куда вошли Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карельская и Коми АССР.

состоянием исторического наследия и его дальнейшей судьбой. К середине 1960-х гг. разрозненные инициативы получают государственную поддержку, что приводит не только к появлению собственно ВООПИК, но и к активной музеефикации — организации новых музеев и музейных комплексов, составлению списков исторического и культурного наследия и т. д. Европейский Север оказался в самом центре этого процесса. В 1960 г. был учрежден архитектурный музей-заповедник «Кижи», в 1967 г. — Соловецкий музей-заповедник, в 1968 г. в Кирилло-Белозерском музее появилась первая экспозиция древнерусского искусства, и тогда же он приобрел статус историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Ретроспективизм 1960–1970-х гг. во многом пользовался лекалами, созданными в эпоху позднего имперского романтизма. Не случайно «Русский Север» снова становится притягательным для искателей старины, художников и этнографов. В 1960-е гг. Русский музей проводит экспедиционные работы в Карелии, Архангельской и Вологодской областях, результаты которых были представлены в 1965 г. на конференции в Ленинграде, а затем опубликованы в работе «Русское народное искусство Севера». Эта книга начинается хорошо узнаваемыми словами: «Русский Север давно стал своего рода землей обетованной. Богатства природы, архитектурные комплексы старинных монастырей, деревянные церкви и часовни, мельницы, избы, с их резными деревянными украшениями, произведения устного и изобразительного народного творчества привлекают внимание не только ученых и художников, но и многочисленных любителей искусства» (Русское народное искусство Севера 1968: 5).

Масштаб символического воображения этого времени был настолько велик, что в сборнике «Русский Север: ареалы и культурные традиции», опубликованном в 1992 г. под редакцией Т. А. Бернштам и К. В. Чистова, его составителям приходится специально напоминать о проблемах, связанных с романтизацией и «русификацией» Русского Севера: «В этнографическом литературе наблюдается тенденция ограничивать понятие “Русский Север” пределами быв. Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний (иногда — даже одной из губерний). Поэтому необходимо напомнить, что севернорусские диалекты и комплекс бытовой культуры распространены значительно шире. <...> Это напоминание актуально еще и потому, что, несмотря на регулярную в последние десятилетия научную популяризацию сложного (архаика — новации) и полиэтничного по происхождению “облика” севернорусской культуры и значительного своеобразия ее отдельных ареалов, в общественном и, отчасти, научном сознании остаются незыблемыми представления о “монолитности” Севера как заповедника древнерусской — “новгородской” — культуры, сохранившего в “первозданном” виде главные культурные достижения наших предков — эпическую и песенную поэзию, обычаи, жилище, одежду, изобразительное искусство и культовую архитектуру» (Бернштам, Чистов 1992: 4). Не ставя под сомнение само существование «феномена Русского Севера» (Там же), редакторы пытаются уменьшить роль «русскости» и «архаичности» в его определении.

Попытки оспорить популярный, в том числе и в этнографии, образ «Русского Севера» как региона монолитной русской культуры, сохранившей наиболее архаические черты древнерусской народности, становятся ключевыми в работах К. В. Чистова 1970–1980-х гг. Обращаясь к вопросам картографирования различных элементов культуры и сравнительному анализу распространения отдельных жанров традиционного фольклора, К. В. Чистов многократно подчеркивал вторичность, относительно поздний исторический характер и полиэтничность генезиса большинства явлений севернорусской зоны, включая жилище, традиционную женскую одежду, обрядность, «эпический» характер фольклорной традиции и диалекты¹⁶ (Чистов 1974; 1977; 1986; 2005).

¹⁶ Ср.: «Русская этнография и фольклористика XIX–XX вв. с энтузиазмом открывала в севернорусской зоне архаические явления, которые представляли значительный интерес для выработки общих представлений о бытовых народных традициях русских,

Заметная специфика севернорусской культуры между тем определялась, по мнению К. В. Чистова, отнюдь не пронесенным сквозь толщу веков древнеславянским наследием, а периферийным положением региона и заторможенностью экономического развития, обусловивших «длительную продуктивность и значительное развитие сравнительно поздней “архаики” (вторичной по своему характеру)» (Чистов 1977: 8). На протяжении всей российской истории Русский Север оставался местом бегства — от государственной и церковной власти, помещиков и ростовщиков — по обе стороны российско-шведской границы, и благодаря этому здесь сформировалась к началу XX в. своеобразная и действительно специфическая культура, но ее своеобразие было не результатом сохранения «русского духа» и выражением общерусской народности, а следствием постоянных межэтнических контактов и удаленности от имперского центра.

В исследованиях, проводившихся ленинградским сектором отдела этнографии восточнославянских народов Института этнографии, а затем самостоятельным отделом восточных славян, развивались темы, предложенные К. В. Чистовым. Русский Север рассматривался как «историко-географический ареал» (Бернштам 1995: 5), место межэтнического взаимодействия и сосуществования различных локальных групп. В шестом выпуске сборника «Русский Север», вышедшем в 2004 г., в границы региона включены Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Тверская, Костромская области, Республики Карелия и Коми — ареал, очерченный Т. А. Бернштам и К. В. Чистовым в 1992 г. (Бернштам 2004: 3). Вышедший после большого перерыва сборник «Русский Север: идентичности, память, биографический текст» (2017), подготовленный по материалам Третьих Чистовских чтений в МАЭ РАН, объединяет публикации по карелам, чувашам, коми и русским, охватывает территорию от Северного Ледовитого океана до Поволжья. Четвертые Чистовские чтения, проходившие в 2017 г. и также посвященные Русскому Северу, еще больше расширяют как географию, так и тематику исследований.

Основные тезисы К. В. Чистова о региональной специфике Русского Севера оказали мало влияния на популярный образ региона. Русский Север, кажется, прочно завоевал статус заповедника «особого духа» и «архаичных форм русской народной культуры»¹⁷. Не только в области коммерческого туризма, но и в этнографии он сохраняет ореол одновременно и первозданной чистоты, и экзотичности, уникальности и типичности своего великорусского облика.

Публикуя подборку статей, подготовленных по материалам Четвертых Чистовских чтений «Русский Север: утопии и мобильности», которые проходили в МАЭ РАН с 30 октября по 1 ноября 2017 г., мы продолжаем работы восточнославянского отдела, начатые в 1973 г. К. В. Чистовым и Б. Н. Путиловым. В этих публикациях Русский Север предстает еще более разнообразным и распадающимся на множество отдельных сюжетов: от севернорусских причитаний и старинной практики раздела семейного имущества до рисунков саамских детей и современных практик автомобильного шеринга. Вполне сознательно не задавая общей рамки и методов для анализа севернорусских материалов, мы надеемся, что именно их разнообразие позволит лучше понять специфику социального пространства Русского Севера в его прошлом и настоящем.

восточных славян и даже славянских народов в целом. Однако дальнейшее изучение показало, что большинство явлений, общих для всей севернорусской зоны (типы жилища, традиционной женской одежды, общий характер обрядности, “эпический” характер фольклорной традиции, диалекты и т. д.), восходят не к древнеславянским племенным и даже не к древнерусским локальным традициям, а формировались относительно позднее (как правило, в XIV–XVI вв.) и были исторически вторичны. Таким образом, севернорусская общность должна рассматриваться как сравнительно позднее субэтническое образование, формировавшееся уже в рамках не древнерусской, а средневековой народности» (Чистов 1977: 7).

¹⁷ Ср.: «Русский Север представлял оазис, где народная культура сохранялась в относительно незамутненном, первозданном виде. Более того, здесь не просто сохранились традиционные формы жизни (бытовой уклад, обряды, ремесла), здесь сохранился дух архаики» (Буторина 2019).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- Альмов С. С., Арзютов Д. В.* Марксистская этнография за семь дней: совещание этнографов Москвы и Ленинграда и дискуссии в советских социальных науках в 1920–1930-е годы // От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.). СПб., 2014. С. 21–90.
- Баранов Д. А.* Этнографический музей и «рационализация системы» // Этнографическое обозрение. 2010. № 4. С. 26–43.
- Бернштам Т. А.* Введение // Русский Север: к проблеме локальных групп. СПб., 1995. С. 3–11.
- Бернштам Т. А.* От редактора // Русский Север: аспекты уникального в этнокультурной и народной традиции. СПб., 2004. Вып. 6. С. 3.
- Бернштам Т. А., Чистов К. В.* От редакторов // Русский Север: ареалы и культурные традиции. СПб., 1992. С. 3–6.
- Бломквист Е. Э.* Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения) // Восточнославянский этнографический сборник: очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в. М., 1956. С. 4–458.
- Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография. М., 1973.
- Бuzин В. С., Егоров С. Б.* Субэтнос русских: проблемы выделения и классификации // Малые этнические и этнографические группы. 2008. С. 308–346. (Историческая этнография. Вып. 3).
- Буторина Т. С.* Культурно-историческое наследие Архангельского края // Культурное наследие Архангельского Севера. URL: <https://cultnord.ru/> (дата обращения: 17.03.2019).
- Власова И. В.* К изучению мировоззрения и самосознания севернорусского населения (по источникам XII–XX вв.) // Мировоззрение и культура севернорусского населения. М., 2006. С. 102–144.
- Власова И. В.* Русский Север: историко-культурное развитие и идентичность населения. М., 2015.
- Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года / сост. А. Н. Иванов. М., 2017.
- Горшкова К. В.* Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
- Донован В.* «Идя назад, шагаем вперед»: краеведческие музеи и создание местной памяти в Северо-Западном регионе. 1956–1981 // Антропологический форум. 2012. № 16. С. 379–402.
- Дурново Н. Н., Соколов Н. Н., Ушаков Д. Н.* Опыт диалектологической карты русского языка в Европе. М., 1915.
- Журавский А.* Европейский русский Север: к вопросу о грядущем и прошлом его быта. Архангельск, 1911.
- Зеленин Д. К.* Восточнославянская этнография. М., 1991.
- Калуцков В. Н.* Ландшафт в культурной географии. М., 2008.
- Капелер А.* Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи // Россия — Украина: история взаимоотношений. М., 1997. С. 125–144.
- Капелер А.* Россия — многонациональная империя. Возникновение, история, распад. М., 2000.
- Кормина Ж. В.* «Император осматривал город»: сюрреалистический социализм и политика памяти // Новое литературное обозрение. 2018. Т. 152. С. 34–57.
- Кормина Ж. В., Штырков С. А.* «Это наше исконно русское, и никуда нам от этого не деться»: предыстория постсоветской десекуляризации // Изобретение религии: десекуляризация в постсоветском контексте. СПб., 2015. С. 7–45.

- Максимов С. В.* Год на Севере. СПб., 1859.
- Мартин Т.* Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011..
- Маслова Г. С.* Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в. // Восточнославянский этнографический сборник: очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в. М., 1956. С. 541–757.
- Мельникова Е. А.* Историзация фольклора и визуальное пространство «народности» // Этнографическое обозрение. 2016. № 6. С. 58–71.
- Миллер А. И.* Империя Романовых и национализм. М., 2006.
- Митрохин Н. А.* Русская партия: движение русских националистов в СССР, 1953–1985 гг. М., 2003.
- Народы Европейской части СССР / под общ. ред. С. П. Толстова. М., 1964. Т. 1.
- Озерова Г. Н., Петрова Т. М.* О картографировании групп русского народа на начало XX века // Советская этнография. 1979. № 4. С. 72–79.
- Полищук Н. С.* Из истории отдела этнологии русского народа ИЭА РАН // Этнографическое обозрение. 2003. № 6. С. 3–11.
- Путилов Б. Н., Чистов К. В.* От редакторов // Фольклор и этнография Русского Севера. Л., 1973. С. 3–4.
- Русский Север: идентичности, память, биографический текст. К 95-летию со дня рождения К. В. Чистова / ред.-сост. Т. Б. Щепанская. СПб., 2017.
- Русское народное искусство Севера / науч. ред. И. Я. Богуславской и В. А. Сулова. Л., 1968.
- Сибирь в составе Российской империи / ред. Л. М. Дамешек, А. В. Ремнев. М., 2007.
- Слезкин Ю.* Советская этнография в нокдауне: 1928–1938 // Этнографическое Обозрение. 1993. № 2. С. 113–125.
- Случевский К. К.* По Северу России. М., 2009.
- Терюков А. И.* Андрей Владимирович Журавский и его коллекция по русским старообрядцам в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН // Сборник МАЭ. Коллекции отдела Европы. Выставочные проекты. Каталоги. Исследования. СПб., 2008. Т. 54. С. 88–108.
- Токарев С. А.* Этнография народов СССР: исторические основы быта и культуры. М., 1958.
- Туторский А. В.* Методы сбора и способы текстуализации полевого материала (на примере Северной экспедиции кафедры этнографии МГУ) // Кафедре этнологии исторического факультета МГУ — 70 лет. М., 2010. С. 273–293.
- Вортман Р. С.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: в 2 т. М., 2004. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II.
- Хоскинг Дж.* Правители и жертвы: русские в Советском Союзе. М., 2012.
- Чистов К. В.* Проблемы картографирования обрядов и обрядового фольклора. Свадебный обряд // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974. С. 69–84.
- Чистов К. В.* Проблемы этнографического и фольклорного изучения Северо-Запада СССР // Этнографические исследования Северо-Запада СССР. Традиции и культура сельского населения. Этнография Петербурга. Л., 1977. С. 3–10.
- Чистов К. В.* Народные традиции и фольклор: очерки теории. Л., 1986.
- Чистов К. В.* Причитания у славянских и финно-угорских народов (некоторые итоги и проблемы) // Фольклор. Текст. Традиция. М., 2005 [1979]. С. 186–198.

Чижикова Л. Н. Изучение сельского жилища восточных славян. Итоги и задачи классификации // Советская этнография. 1976. № 4. С. 27–41.

Шабает Ю. П., Жеребцов И. Л., Журавлев П. С. «Русский Север»: культурные границы и культурные смыслы // Мир России. 2012. № 4. С. 134–153.

Шангина И. И. Русский фонд этнографических музеев Москвы и Санкт-Петербурга: история и проблемы комплектования. 1867–1930 гг.: автореф. ... дис. д-ра ист. наук. М., 1997.

Энгельгардт А. П. Русский Север. Путевые записки. СПб., 1897.

Алтов S. Ethnography, Marxism, and Soviet Ideology. An Empire of Others: Creating Ethnographic Knowledge in Imperial Russia and the USSR. Budapest; New York, 2014. P. 121–143.

Bassin M. Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century // The American Historical Review. 1991. Vol. 96, № 3. P. 763–794.

Brower D. R., Lazzarini E. J. Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917. Bloomington, 1997.

Brudny Y. M. Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991. Cambridge, Mass., 2000.

Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, 2005.

Neumann I. B. Uses of the other: “The East” in European Identity Formation. Minneapolis, 1999.

Seegel S. Mapping Europe's Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire. Chicago, 2012.

Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53, № 2. P. 414–452.

Tolz V. Inventing the Nation: Russia. London, 2001.

Wolff L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, 1994.

**“ALL BREATHE OF RUSS... ”: ON THE HISTORY OF RUSSIAN NORTH
ON THE SYMBOLIC MAP OF THE IMAGINED RUSSIA**

ABSTRACT. The paper is focused on the uses of the term ‘Russian North’ in the context of the Russian and then Soviet national politics and ethnography of the 19–20th centuries. The category ‘Russian North’ used until the end of the 19th century became the instrument for symbolic appropriation of a wide aboriginal territory by imperial discourse and allowed for reinterpretation of it in the national terms. The later invention of the ‘Russian North’ was made in the beginning of the 20th century when it was geographically reshaped and received the image of the Russian soul and tradition reserve. Subdivision of the Russian ethnos into the Northern, Southern and Central Russians became the background for the Soviet ethnography classification but was not realized in political space. Nevertheless the layout used for description of the Russian subgroups corresponded to the general model applied in the construction of the national and ethnic entities. During the retrospective turn of the 1960–1970s the Russian North was revealed as the region of the ancient traditions, culture and Russian nation. Regardless the critics of the 1970–1980s it remains the most claimed topos of the national imagination until today.

The territorial and administrative reforms of the 1920s made for ‘russification’ of the former Arkhangelsk region dividing non-Russian districts.

KEYWORDS: Russian North, Northern Russians, imagined geography, ethnography, symbolic space

EKATERINA A. MELNIKOVA — Candidate of Historical Sciences, Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences; European University at St. Petersburg (Russia, St. Petersburg)

E-mail: Melek@eu.spb.ru